

ГЛАВА IV

ТРАГЕДИЯ ШМЕЛЕВА, ПИСАТЕЛЯ И ЧЕЛОВЕКА

В судьбе И. С. Шмелева поворотным моментом стала трагическая гибель сына в 1921 г. Сведения о смерти Сергея Шмелева противоречивы и скудны. Все, кто писал об этом, опирались в основном на поздние свидетельства В. Н. Муромцевой-Бушиной и Ю. А. Кутыриной, воспоминания Шмелева и его письма. В статье «Трагедия Шмелева», опубликованной в 1956 г. в эмигрантском журнале «Возрождение», Ю. А. Кутырина призналась, что все усилия узнать правду о смерти С. И. Шмелева, выяснить, когда и где его похоронили, оказались безуспешными. Шмелеву так ответил уполномоченный ЧК С. Ф. Реденс: «Чего вы хотите? Тут в Крыму была такая каша!»¹ Действительно, с июня 1918 г., когда семья Шмелевых переехала в Алушту и поселилась в маленьком домике на вершине зеленой балки, она оказалась в эпицентре событий гражданской войны, испытав все ее ужасы.

В 1918–1920 гг. Крым не раз переходил из рук в руки: большевистскую республику Таврида сменило Первое краевое правительство во главе с генералом М. А. Сулькевичем, поставленное германскими оккупантами. Пришедшие следом англо-франко-греческие «союзники» уступили место Добровольческой армии и Второму Крымскому краевому правительству во главе с С. С. Крымом. В 1919 г. вновь пришли большевики, но и они не удержались под натиском белых армий Деникина, Слащева, Врангеля. Только в ноябре 1920 г. остатки врангелевских войск покинули Крым, перешедший под власть Крымского революционного комитета во главе с Бела Куном и Крымского областного комитета РКП(б), который возглавила присланная из Москвы Р. С. Самойлова (Землячка). 27 ноября был образован Особый отдел Крыма, получивший полномочия бесконтрольно распоряжаться человеческими жизнями. С этого момента началась расправа со всеми, кто хоть как-то был причастен к белому движению.

Размах красного террора, направляемый из центра, был настолько велик, что полностью перечеркнул все обещания амни-

ствии белым офицерам. Вместо подписанного 12 сентября 1920 г. Лениным, Калининным, Троцким и другими «Воззвания к офицерам армии барона Врангеля» в действие вступил приказ № 4 Крымревкома, в котором говорилось: «Все офицеры, чиновники военного времени, солдаты, работники в учреждениях Добрармии обязаны явиться для регистрации в трёхдневный срок. Не явившиеся будут рассматриваться как шпионы, подлежащие высшей мере наказания по всем строгостям законов военного времени». При этом новую власть не интересовало, что большинство оставшихся в Крыму добровольцев не чувствовало за собой никакой вины перед большевиками. Они были не кадровыми офицерами, а насильно мобилизованными вчерашними студентами, служащими, людьми свободных профессий. Именно таким был сын И. С. Шмелева Сергей.

В начале ноября 1919 года подпоручик-артиллерист С. И. Шмелев приехал к родителям в Алушту, получив отсрочку по болезни, и до конца марта 1920 г. лечился дома. Отравленный газами на германской войне, получивший туберкулез обоих легких, он как инвалид был демобилизован, зачислен в алуштинское комендантское управление и работал при городском квартирном отделе. Вечерами участвовал в работе местной театральной секции. Шмелев писал А. В. Луначарскому: «Мы имели бы возможность уехать, прямо скажу, но у меня не было сил покинуть родное. Тоже и мой мальчик. Он прямо заявил, — что бы то ни было, он из России не уедет»².

Мечтая в мирное время продолжить учебу в университете, С. Шмелев подчинился приказу, подписанному Бела Куном, и явился на регистрацию в Особый отдел города Феодосии. Это было 5 декабря 1920 г. 11 декабря Шмелевы получили от него письмо, а потом открытку, датированную 27-м декабря. С тех пор они ничего не могли узнать о судьбе сына в течение нескольких месяцев. Не помогали ни письменные обращения, ни просьбы, ни мольбы. Шмелев ежедневно писал друзьям и знакомым, умоляя помочь. Большинство этих писем долгие годы было скрыто в архивных спецхранах и только в 1990-х гг. XX века стало доступно исследователям.

4 февраля 1921 года Шмелев писал С. И. Гусеву-Оренбургскому:

«Дорогой Сергей Иванович,

ни словечка, ни отзвука не получил я от Вас на мой крик... Но я знаю Вас, отзывчивого товарища-писателя и добрую душу.

Должно быть, не получили или завалены делами. Дорогой мой, близкая душа, скажите, внушите мне, заклеванному судьбой, больному и теперь для меня самого жалкому осколку человека. Ибо осколок я, дребезг и дрызг — только. Где же тот сапог, который хрухнет по мне напоследок? Без сына, без моей единственной радости, из-за коей стоило жить, — ибо сын для меня была сила жизни, и родной жизни, мой чистый, ни чужой кровью, ни слезой, ни горем ничьим не запятнанный мальчик, дававший мне силу жить и работать. Больная любовь моя это? Повышенная чувствительность? Не знаю, нет, не болезнь и не чувствительность, а свет, без коего я бессилен и слеп для жизни.

Я его дал жизни и ему дал жизнь, и себе как-то. Все мои радостные и трудные дни с ним связаны. Без него их нет, будто и не жил я. Без него — темень и пустота. Это не слова, не словами я говорю, а болью кровной. Если бы мне сказали — вот ты теперь до конца дней будешь на грязи проезжей дороги под вечным дождем с зари до зари бить щебень, но сын с тобой будет, или даже где-то живой будет и ты его никогда не увидишь... Я готов. Клянусь — готов я на это. Господи, дай же мне его, безвишнего! Где он?

Дорогой С. И., вдумайтесь в смысл моего крика! Чутьошную часть боли моей возьмите, только чутко подержите на сердце. Вы можете. Вы чуткий. Вам известна эта сила — переживать жизни других людей. Вы поймете, что я не могу жить так. Если бы я сумел рассказать Вам жизнь мою, всегда полную тревог и больных предчувствий! Скорбную жизнь мою. Мы, трое, маленькая семья, прожили жизнь очень маленькую, очень тихую, но в ней было столько маленьких, наших, радостей, над которыми бы улыбнулись люди орлиного полета. И вот, нам, маленьким, нанесен удар молотом несоразмерным. Мой мальчик... за что его отняли? За то, что против воли томился, взятый на войну, на борьбу, от которой был так далек своей тихой душой. За то, что, радуясь, что теперь кончилась эта гражданская война, остался на родине, веря, что ему найдется в ней труд — учиться, работать честно? Я не соберу мысли, они рвутся и путаются. Вот уже два месяца мы страдаем, ожидая выхода, не зная, где сын, что с ним, жив ли, больной, забытый нами.

На днях я получил от Галлопа сообщение, что сын увезен в Харьков уполномоченным особого отдела Южфронта Данишевским... Когда и зачем — не знаю. И верно ли это? Может быть, это тоже одна из легенд, которых было так много? Может быть,

уже и нет нашего мальчика? Как узнать? И можно ли павести где и какие справки? Не знаю. Я не занимаю никакой должности. Я не способен сейчас к работе. И мне нет возможности поехать в Харьков. С.И.! Поищите возможности узнать что-нибудь. Если сын жив — нам падо к нему. Только я буду молить Вас, других через Вас, уехать нам в Харьков. Да неужели же мне, старому и больному писателю, не дадут этой ничтожной милостыни? Пусть затребуют меня в Москву. Пусть дадут мне там работу. Какую угодно... Пусть в раба превратят меня, в верного раба. Есть еще огонь под пеплом. На конопатку-то я ведь еще годен? Если из меня, из моей силы писательской уже нельзя добыть строительного материала, то хоть на мусор-то я, на щебень-то я гоюсь еще? В посыльные-то, в гвоздики-то еще годен? Я и на гвоздики готов, на все готов, лишь бы сын жил. Мое в нем, своего у меня не осталось ни пылинки. Скажите Москве, может быть, меня туда потребуют. Я, может быть, еще на что-нибудь сгожусь. Здесь, у моря, у чуждого мне моря, одинокому, с женой, больным нам, — очень трудно, очень одиноко. Покровительства прошу, ибо, как раздавленный, живу я здесь без цели, без надежды, в глухой стороне.

Меня задавили кошмары моего больного воображения. Я не хочу остаться в татарской земле. Здесь все — могильно. Море уже не море, а холод водной пустыни. Горы — не горы, а камень мертвый, кипарисы — ужас ночной, печаль дневная. Солнце — глаза болят, колет оно сердце... Не полегчало мне на юге, слабею я, боюсь погибнуть в земле татарской. По Руси, по родной, мягкой земле тоска. Та мягкая земля возрастила меня, сына моего дала мне. Эта земля — взяла. Скажите на Москве, что я, старый, больной русский писатель, — умоляю, если жив сын там, вернуть меня на мягкую Русь, на мою, еще не всю высказанную, не всю рассказанную, не всю оплаканную и взлелеянную мною.

Еще есть чудеса, — если бы дали их выявить в слове родном! Знаете ли, я ношу в себе боль, и в боли любовь — сказать о мягкой земле весенней Руси! Я поэму ношу, пусть не дадут умереть в земле татарской.

Скажите Горькому — стыд ему будет, если даст погибнуть. Скажите всем, кто еще носит любовь к великому слову русскому, что я мучаюсь великими болями за сына, что я ношу в сердце еще невысказанное! Скажите, что я никому еще не продавал души своей, своего пера, никому не служил, что я до сего дня — вольный, свободный писатель, слушающий Бога своего, свое

сердце. Что я не знаю истины утвержденной, что я — лишь свидетель жизни и бытописатель, что я вбираю в себя, чтобы, преворив, смешав с кровью сердца своего, отдать. Дайте мне остаться свободным писателем. Я своими работами не вливал в жизнь зла, я звал лишь к любви. Я страдал только — знают же читавшие меня, кем я болел. Если хоть не за друга, то и за не друга не сочтите меня. Ну, хорошо. Я буду писать, если сын жив. Я буду писать только для детей. О птицах буду, о солнце, о Боге, в мире разлитом. Я о мягкой земле, о Руси буду писать или думать. Здесь, в татарской земле, я испытываю влияние токов, как бы электрических. Они добираются до сердца и колят его. Здесь и зимой грозы. Недавно я слышал гром — у меня все внутри выворачивается. А может быть, это разлука с сыном так действует? А может быть, это Русь меня притягивает — зовет громом со своих равнин, еще снежных, но скоро зеленых?

Дорогой С. И. Мой сын тоже Сергей Иванович. Я плачу. Мой мальчик никогда не будет большим, т. е. уже не будет... Господи, если бы почувствовали там, на Москве, как можно плакать человеку, у которого уже нет сил плакать. Когда настает ночь, татарская, морская, каменная, глухая ночь, одинокая и бесконечная, и мы с женой, осколки семьи, раздавленные горем и страхом, сидим молча у печки, смотрим и думаем — плачем, когда кусок кожи, остаток от сына, от его работы — он шил нам обувь — когда этот кусочек попадает на глаза, или его пуговка, или его строка в моей рукописи, или его полотенце... мы кричим оба. Слышите ли, мы кричим, мы хотим умереть. Иногда я слышу его голос. Сын. А потом снова день и тоска, и надежда, и легенды...

Ну, Горький же ответится! Мне кажется, что я могу потерять нить мысли. Ну, хоть звук бы о сыне, из Москвы, куда я писал дважды. Спасите! Я не боюсь голода, лишений. Добрые люди еще не дают умереть. Мне неизвестные люди — если написать о них — сколько я добрых людей узнал! — дают — кто молока, кто чего...

Я боюсь, не напрасно ли уже живём мы, и не в легендах ли черпаем надежду за сына. С. И.! Последний раз пишу. Мне уже не к кому писать. Скажите Бонч-Бруевичу, что ли. Может быть, из моих книг что-нибудь осталось в душах... Хоть за это — крупицу бы участия уделили. Как я унижен, как я обижен! Как я раздавлен! Всю жизнь не находивший покоя человек. Пролетариат российский найдет в моем прошлом творчестве и о себе

слово-боль. Его именем прошу — верните сына или развяжите душу. Невозможно болеть дольше. Жду слова-зова из Москвы. Или пусть скажут — пропади ты, личина несчастная! Если бы Вы хоть на день приехали ко мне. Вам это легко — только побеспокоиться. Но тогда Вы постигли бы пропасть, в которую я вот-вот упаду. Не бойтесь горя нашего. Мы его зажмем. Вы не увидите слёзы, Вы лишь услышите душу. Очень важно, если бы Вы могли приехать ко мне. Мы Вас будем кормить лепёшками. Жена печёт, иногда я пеку. И чай есть, и пшеница. Родная душа, осветите тьму, в коей мы живем. Я не получил письма, которое будто бы послала Вера Абрамовна, по словам Галлопа. Будто бы сына кто-то видел в Харькове. Это легенды? Родной, отзовитесь, приезжайте. Я в ужасе. Доходит до сердца. Кто-то отравляет нас токами (Вы не знаете!). Я борюсь с собой. У нас в семье наследственность ужасная. Мы все погибаем от этого проклятого электричества. Брат погиб, сестра... Теперь до меня. Но я борюсь и не хочу верить. Это только остатки наследственности. И потом — прошло время — мне доктора говорили, что лечили Корсакова, — мне уже 48 лет. А 48 лет это уже 5 лет за пределом для того, чтобы уже не бояться этой проклятой наследственности. Вот только головные боли и упорная рвота на днях. Может быть, воспаление мозга начинается! Я скорей бы узнал о мальчике, пока не покрыла тьма голову, душу мою! Ведь тогда я уже ничего не буду знать. Меня повезут, меня закупорят. Я этого боюсь — не говорите никому. Я еще здоров достаточно. И самое важное, что я критически отношусь к себе, ибо боюсь. Это главное. Приезжайте же, ведь я давно не знаю друзей, их голоса. Скажите В. Абр. Рабинович (ул. Фабра, д. Иоффе, Почт. Двор), что я не получал ее письма. Спасибо ей, родной, за заботы.

Мы живем в снах и легендах. Кто-то передал слух, что моего мальчика какая-то дама видела в Харькове, говорила с ним?! Но письма я не получил, в котором будто бы об этом сообщает В. Абр. Слышу всюду, что те, то другие мои друзья едут в Москву. Все уедут, уедете и Вы, а мы — останемся, и уже никто нам не скажет о сыне. О, не забывайте нас. Я так растерялся, так разбит душой, что не могу найти слов. Извините Вы мои расстроенные, больные нервы — такое бессвязное всё пишу всю ночь. Боли меня преследуют. Пропала моя сила писательская. Я теперь не вызову ни одного образа. Я бледен в мыслях и слове. Простите.

Ваш Шмелев»³.

Гусев-Оренбургский не мог ни помочь Шмелеву, ни отозваться на его письмо, т.к. в 1921 г. он был выслан из Крыма как один из лидеров эсеровской партии. Все меньшевики и эсеры подлежали депортации, ибо большевики стремились обеспечить себе большинство в руководящих органах управления. Не дошла просьба Шмелева и до управляющего делами СНК В. Д. Бонч-Бруевича. Что касается известия, которое пришло от крымского общественного деятеля А. Г. Галлопа и В. А. Рабинович, оно оказалось ложным. Член Реввоенсовета К. Х. Данишевский не увез С. Шмелева в Харьков: приговоренный к смертной казни 29 декабря 1920 г., он сидел в Виленских казармах феодосийской чрезвычайки, дожидаясь расстрела. У Шмелевых оставалась надежда на Горького, который всегда относился к писателю с большой теплотой и высоко ценил его произведения, особенно повесть «Человек из ресторана». 9 февраля 1921 Шмелев написал Горькому:

«Дорогой Алексей Максимович,

два письма писал Вам — в декабре и январе — ни отзвука. Затерялись?.. Пишу третье, последнее, с трудом собираю остатки душевных сил. Отзовитесь же, брат-писатель! О правде плачущей, о муках непосильных пишу и писал Вам. Откликнитесь, человек, на человеческий вопль-вой. Не можете не откликнуться. Уэллсу писали, защищая смысл здравый, отстаивая “человеческое”. Я о сверхчеловеческой муке пишу — кричу — умоляю. отзовитесь. У меня сына взяли на суд, увезли в Феодосию в начале декабря, и вот до сего дня бьюсь, не могу узнать, где он и что с ним случилось. Больного сына, единственное дитя. Я уже писал Вам, но повторю.

Сын мой, Сергей, 25 л., был подпоручиком-артиллеристом в германскую войну (раньше студентом). Был отравлен газами на Стоходе, лежал в госпитале в Ровно, в мае 1918 года прибыл в Алушту, больной, где мы последние годы жили (я тоже больной, уже 17 лет). В декабре 1918 г. *был мобилизован* Крымским правительством (документ при деле); мотали его до конца октября 1919 г., когда он, разбитый, кровохаркающий, перенесший 5-е воспаление легких с плевритом, вернулся к нам в Алушту. Ему давали отсрочки, он жил в семье до конца марта 20 г., но не мог уйти в отставку — не давали, не было каких-то правил. Дали ему 3 категорию, 2 разряд — служи на мирном положении. И с апреля 20 г. он причислился к местному комендантскому управлению. Знали, что он инвалид, и служба его сводилась к заседани-

ям в городском квартирном отделе. Его знали все как тихого, всегда скромного человека: кто бы мог сказать о моем чистом (скажу прямо — святом!) мальчишке что-либо плохое. Никаких проявлений политической нетерпимости, национальной вражды — никогда, ничего. Вы мне поверите, таким сыном я гордился, да. Ибо это был, действительно, сын, за жизнь которого (для матери) лучше бы взяли мою жизнь. Верите мне? В конце октября 21 г. мы, трое, остались в Алуште, веря, что ничего не может угрожать нашему сыну. На его совести — ни слезы, ни стоны, ни капли крови — ничьей. Вы мне поверите? Мало того — я и сын мой не раз помогали другим избавиться от гонений. Сын явился на регистрацию белых офицеров, объявленную Советской властью. Все говорили об амнистии! И вот началась наша Голгофа. Долго писать, не скажешь всего. За сына поручилась местная коммунистическая ячейка, ее секретарь. Командир бригады (9-ой, 3 дивизии, 4 армии) Райман, видя, что мальчик больной, взял его с собой в экипаж — довез до Судака, сын два-три дня жил у него как добрый знакомый, отдал ему все документы, и сын поехал в Феодосию свободно, явился в Особый Отдел 3 дивизии — 11-го декабря и... конец. С этого времени я не имею никаких сведений. Правда, я имею открытку от 11 декабря, полученную 8 января. Сын пишет, что, больной, сидит в Особом Отделе и ждет... уже 6 дней. И ничего больше не знаю верного. Ни телеграммы, ни хлопоты, ни просьбы многих — узнать, где мой Сережа — ничего не может помочь. Вот уже два месяца с половиной М. Волошин, Вересаев, Гусев-Оренбургский, Выставкина, Бровцина, Рабинович-Иоффе, А. Галлоп — все люди влиятельные, частью партийные — ничего не могли узнать. Я умолял, бился об стенку головой, я *униженно* просил, ибо уже все силы иссякли и душа пустынна — молчание. Дали из Феодосии справку: Сергей Шмелев увезен уполномоченным Особого Отдела Данишевским в Харьков. И только. Когда и зачем? И через два-три дня телеграмма чья-то: «Сережа жив-здоров. Феодосии». А через день письмо Вересаева: «Ничего нельзя узнать, говорят: у нас в списках не значится». Что это? Пропал человек. И мне не могут сказать, не хотят сказать. А ведь это рядом. Ведь стоит Симферополю, начальству, запросить Феодосию (ведь телефон есть!) — и в полчаса все бы узналось. Нет! Для нас создали пытку, и мы медленно умираем вот уже 2 1/2 месяца. Да, Алексей Максимович, — умираем! Каждое утро встречает нас усмешкой — м.б.,

узнаете. День убивает страшным отчаянием, болью несказанной, кошмарной. Знаете, что я давно бы убил жену и себя, если бы еще не последняя искра — узнать, что сын? А, м.б., еще жив. А ночь добивает: завтра еще день будет, и много, много еще дней. Ах, Алексей Максимович! Если бы я мог написать Уэллсу об этой своей муке, незаслуженно присужденной мне! Если бы я нашел силы дать понять Вам хоть 1/100 наших сверхчеловеческих болей! Но у меня истекла душа, омрачилось сознание. Я кошмаром тянусь в жизни и уже не верю, что это жизнь. Знайте, я готов всю жизнь сидеть в грязи придорожной и бить щебень с зари до зари, только бы узнать о сыне! Мы гаснем в муках, в сознании полного безумия и угнетенности страшной. Мы как зачумленные. Нам избегают писать, запуганы люди. Есть же еще добрые, кому правда дорога еще, они стараются облегчить наш кошмар. В память, м.б., тех радостей, которые могли давать мои книги. Вы не представляете, Алексей Максимович, как угнетена человеческая душа. Вы в центре этого себе не представляете. Вы многого не представляете себе. Напишите Уэллсу, что русский писатель, которого знают и англичане, и немцы, и французы, — мой “Человек” переведен на эти языки, — должен питаться подающим! Ему дают 1/4 фунта хлеба (на него и жену) и то не каждый день! за которым он должен идти больной за две версты. Что из симпатии к нему ему дают бесплатно лекарства, ибо у него ни копейки! Что у него отняли единственного, ни в чем не повинного сына, и, м.б., убили. Что ему об этом не говорят уже 2 1/2 месяца — дергают душу! Напишите Уэллсу, Алексей Максимович, что русский писатель, страдания пролетария, парии, лакея человеческого передавший с болью, получил от пролетариата в благодарность — пытку перед концом дней своих. Нет, не от пролетариата и во имя пролетариата. Люди простые, имеющие душу, они понимают мои страдания, наши боли, мои и матери. О, если бы Вы видели, как мать почи плачет беззвучно!

Как бьется головой, как мы стонем-воем в земле татарской, у глухого моря! Без надежды, забытые, вычеркнутые. Люди простые, имеющие душу, делятся с нами последним. Незнакомые, они приносят молока, муки. Рыбаки от себя дают остатки своего улова, им скудно отданные. О, если бы Вы могли узнать все о нашей жизни! Вы заплакали бы, Алексей Максимович, Вы ни минуты не замедлили бы подать нам руку. Я верю в Вас. Вот почему я в третий раз пишу Вам, отчаявшийся во всем. Во мне

убиты возможности творчества — а они были — это больше, чем убить тело мое. Душа убита, душа замордована, стерта. Кому нужны эти боли? Что они создать могут? Что из них создать? На что пустить? Ну, если бы моими муками можно было бы хоть одного человека досыта накормить, — ну, я бы почувствовал хоть слабое утешение. Но я знаю, что мои, наши боли делают больно многим, которые нас любили. Отзовитесь, Алексей Максимович, закликаю Вас всем, что дорого Вам, молю Вас — откликнитесь! Не дайте потерять последнее — веру в человека. Я стою на краю, скоро, чую, уйду я с этого света. Сил не хватит... Скажите, напишите — кому не знаю — Бонч-Бруевичу, Луначарскому, Троцкому или Ленину, б.м., — не знаю! — скажите им: правду человеческую спасите! Правда кровоточит, сердце в живом человеке режут! Обвиняю кого? Нет, просто в грохоте разрушения и созидания не слышно человеческого вопля. Но у Вас ухо тонкое. Вы услышите. Вы — большой, не можете не слышать, не можете не почувствовать.

Ведь так просто — одно распоряжение запросить о моем сыне, дать мне узнать истину. И если сын-инвалид еще жив, если ему нельзя вернуться в Алушту — нам бы дали возможность выехать к нему, или в Москву, потребовали бы меня с матерью, прислали бы пропуск или мандат, чтобы мы, больные, могли приехать. Трудно получить пропуск даже в Симферополь, ибо у меня нет законного мотива поехать — я не служу. Но, б.м., я еще гожусь, если сын жив, для какой-нибудь работы. Я слышал, Вы отдали много сил, чтобы сделать положение писателя в Советской России лучшим. М.б., и я получу право на некоторое внимание. Я каким был, тем и остался — только писателем, сердцем живущим. Я сохранил свое перо, не отдав его никому. Знаю и верю, что и Вы сохранили свое перо, всегда искреннее. И верю, что и душу Вы, что и любовь к людям, и боль от человеческого горя бережно носите. Примите мое горе, мои непосильные страдания в свою душу и поддержите: Вы тогда не забудете моего крика, моего отчаяния. Спасите нас от гибели, если не поздно. Дайте в последний раз взглянуть незаплаканными глазами на Божье небо, прежде чем сойдем в прах. Иногда я теряю мысли, я боюсь потемков сознания. Не дай же, Боже. Бедная моя Оля, моя подруга — жена, четверть века поддерживавшая меня. Она потеряла силы. У матери дитя взяли и не сказывают, что с ним стало. У матери дитя взяли, Алексей Максимович! Криком кричу: услышите, услышите! Вот побегу по дорогам и буду кричать.

выть. Услышите! Вы не можете не услышать, это ужас, если Вы не услышите. Ведь уж старики мы, Горький, с Вами! Ведь уже мудрость жизни вливается в нас. А в мудрости — чистая неприкрашенная правда — сердце. К сердцу мудрого, Вас, обращаюсь — руку подайте, голосом отзовитесь, любовью к человеку откройтесь! Но только не молчите. Скажите — не могу, беспомощен, но скажите. Чтобы хоть этой боли, равнодушия того, кому верил, не было.

Ваш Иван Шмелев.

Все, что написал — сухая правда. Мой сын — невинен ни в чем! Он всегда хотел одного только — учиться. Он по складу души всегда был далек от борьбы, крови, зла. Верьте мне... Его заставили служить слепым орудием. И только. Повторяю: на совесть ни слезы, ни стоны братьев по крови, братьев по человечеству. Поверьте мне. За него могли бы поручиться все, кто только его знал в Алуште, где он безвыездно жил последние 12 месяцев. Его называли, знаете как? Тихий, как ягненок. Все время он отдавал нам — мне и матери. Ему чужда была военная среда. Он из иного теста, он рожден был для иной жизни. Он как был в чине подпоручика с германской войны, так и остался. Он — жертва. И я прихожу в ужас, что такому юному и тихому душой, такому чистому выпало на долю, может, страдание крестное. О, пощадите, Алексей Максимович, еще не угасшую надежду. У меня нет сил, будьте же сильны Вы, уделите мне крупицу Вашей силы. Вашего чувства к людям. И мы оба, я и жена, понесем Ваш образ глубоко в душу нашей. Молим, молим о помощи! Не может быть, чтоб только стены стояли вокруг, чтобы перестали люди слышать и понимать муки. Алексей Максимыч! Руки буду целовать, руки, которые вернут мне сына. Иван Шмелев»⁴.

Письмо Шмелева оказалось одним из многих, столь же отчаянных писем, получаемых Горьким в годы гражданской войны. Вся его переписка с вождями революции с августа 1919-го до лета 1921 г. представляет собой сплошной поток жалоб на необоснованные аресты и просьбы об освобождении невинных. В 1919 г., сетуя на размах красного террора, он писал Л. Б. Каменеву: «Изнемогаю под градом этих просьб. Когда же кончится сие?»⁵ В начале 1921 г. количество такого рода хлопот возросло беспрестанно. Горький был занят спасением жизни петроградских ученых, пытался помочь голодающим, выхлопотать разрешение тяжелобольному А. Блоку уехать за границу. Тем не менее он откликнулся на просьбу Шмелева.

Об этом свидетельствует его письмо В. Короленко от 28 февраля 1921 г., в котором Шмелев упомянут среди других крымских писателей, срочно нуждающихся в помощи. Горький пишет: «Поверьте, что я в достаточной мере усердно старался выяснить, где Ф<илато>вы, а также В. И. Дмитриева и еще некоторые лица»⁶. Можно догадаться, что среди «некоторых лиц» был и С. Шмелев. Далее Горький сообщил Короленко, что по поводу пропавших без вести писал и телеграфировал Дзержинскому в Харьков, но так и не получил ответа. В феврале-марте 1921 г. он неоднократно встречался с Лениным и Луначарским. По-видимому, итогом этих встреч стала телеграмма за подписями Председателя ВЦИК М. И. Калинина и наркома А. В. Луначарского, посланная в Крым, чтобы обезопасить жизнь и имущество живших там писателей (С. Сергеева-Ценского, К. Тренева, И. Шмелева, М. Волошина, С. Найденова и др.).

Эта телеграмма стала для них своего рода охранной грамотой. В марте 1921 г. Тренев писал Горькому: «...горячее вам спасибо за оказанное внимание, выражением которого была телеграмма высшей власти, оказавшая мне и товарищам — Ценскому, Шмелеву, Елпатьевскому — огромное облегчение в переживании кошмарных крымских дней»⁷. Сергею Шмелеву поддержка Москвы не помогла: пока шла телеграмма за подписью Ленина о приостановке расстрела, его уже расстреляли. Впоследствии сидевший вместе с ним в тюремном подвале, но чудом спасшийся доктор Шипин рассказал, что бессудную расправу над сыном Шмелева совершил известный своей жестокостью помощник начальника особого отдела 3-й стрелковой дивизии 4-й армии чекист И. М. Островский. Примечательно, что именно он спустя много лет станет чекистским «куратором» Горького во время его пребывания на даче в Тессели (Форосе). По-видимому, прав был В. Ходасевич, когда заметил, что среди большевистских руководителей у Горького были недруги (прежде всего Г. Е. Зиновьев), которые старались свести на нет все его усилия по освобождению заключенных. Он вспоминал: «Арестованным, за которых хлопотал Горький, нередко грозила худшая участь, чем если бы он за них не хлопотал»⁸.

Пытаясь узнать о судьбе сына, Шмелевы поехали в Феодосию, где при содействии В. Вересаева собрали кое-какие справки, но и они не помогли. Над ними откровенно издевались или обманывали их, говоря, что сын жив, но его куда-то выслали. В Симферополе им тоже никто ничего не сказал. 12 марта 1921 г.

Шмелев писал наркому просвещения А. В. Луначарскому: «Мы, голодные, в мороз полуодетые, бродим по крымским дебрям, тычась из города в город, от порога к порогу, устрашаемые требованием пропусков, не имея крова и хлеба, мы ищем своего права, мы отыскиваем след сына, — и везде, везде одно и одно: «Идите туда, там знают, но, по всей вероятности, вам не скажут»⁹. После того, как из Москвы пришли две телеграммы (одна в симферопольский ревком), Реденс сказал Шмелевым, посмотрев дело их сына: «За *это* не могло быть расстрела». Это породило новые надежды и новые страдания. Шмелев писал Луначарскому: «У меня остается только крик в груди, слезы немые и сознание неправды.<...> У меня выветрилась душа»¹⁰.

Нарком просвещения переправил письма Шмелева председателю ВЦИК М. И. Калинину, сообщив ему только 25 мая 1921 г.: «Его горькое послание по поводу судьбы его сына пришло ко мне с большим опозданием. Тогда же удалось добиться телеграммы за подписью Ленина о приостановке расстрела. Оказалось, однако, что сын его был расстрелян, да к тому же, уже, кажется, в январе. Посылаю теперь его новое письмо, тоже очень горькое. Посоветуйте, Михаил Иванович, может быть, Вы распорядитесь через ВЦИК расследовать дело. Думаете ли Вы также, что Шмелева, действительно, следует вызвать в Москву? Академический паек мы ему дадим. Вот только с квартирами у нас очень скверно, боюсь вызывать кого-либо. У меня уже полтора десятка людей ютятся по углам у знакомых. Нет квартир, а тут еще международные съезды. Что скажете?»¹¹

Калинин ответил в тот же день: «Я думаю, что с квартирой *Шмелева* сделать можно, как ни трудно, но все-таки одну-две комнаты в исключительных случаях достать можно. Но вряд ли чем можно ему помочь по делу его сына; для нас ясны причины расстрела его сына, расстрелян потому, что в острые моменты революции под нож революции попадают часто в числе контрреволюционеров и сочувствующие ей. То, что кажется так просто и ясно для нас, никогда не понять Шмелеву. Во всяком случае, надо ему помочь. Москва, вероятно, его встряхнет немного, выдвинет целый ряд необходимых вопросов, что, в свою очередь, уменьшит остроту его постоянной мысли»¹².

Как бы то ни было, казнь Сергея Шмелева была предreshена хотя бы потому, что он был «не рабоче-крестьянского происхождения». Одного этого было достаточно, чтобы человека поставили к стенке. Судя по газетным сообщениям об ужасах крым-

ского террора конца 1920–1921 гг., которые собрал и систематизировал С. П. Мельгунов, за этот год было уничтожено более 100 тысяч человек. Живший в Коктебеле М. Волошин описал Феодосию в декабре 1920 г. в стихотворении «Бойня»:

Отчего пред рассветом к исходу ночи
Причитает ветер за Карантином:
«Носят ведрами спелые грозды,
Валят ягоды в глубокий ров.
Ах, не грозды носят — юношей гонят
К черному точилу, давят вино,
Пулеметом дробят их кости и кольем
Протыкают яму до самого дна»¹³

По просьбе Шмелева Волошин, знакомый с председателем Феодосийского ревкома И. В. Гончаровым и другими чекистами (в Крыму его знали и красные, и белые), долго пытался выяснить судьбу С. Шмелева. Впоследствии он вспоминал: «Шли сплошные расстрелы. Вся жизнь была в пароксизме террора»¹⁴. Обо всем этом Горькому могла рассказать Е. В. Выставкина, которая ездила к нему весной 1921 г. по поручению Шмелева и Тренева. Попытки разузнать правду предпринимали многие: С. Иоффе, В. Вересаев, С. Сергеев-Ценский, М. Волошин, который мог получить пропуск для передвижения по Крыму и не раз бывал в Симферополе, где тоже каждую ночь хоронили молодых офицеров, закапывая еще живых в ров. Туда же в марте 1921 г. приехали Шмелев с женой. Здесь им, наконец, сказали, что сын расстрелян.

29 марта потрясенный Шмелев вновь пишет Горькому: «Моего единственного сына расстреляли. Безвинного, бессудно. Покровительство Москвы опоздало. Расстреляли с большим промахом после приговора, т.к. сын был болен. Больного расстреляли. Вот уже 6 недель я бьюсь и тычусь, чтобы узнать хотя бы день смерти, чтобы носить в душе последний день жизни моего мальчика — напрасно. Мне не говорят. Мне удалось и о расстреле узнать только через посредственное лицо. Мне лишь сказали: да, верно. Мне не показали ни дела, ни мотивов. На мои заявления-справки, где я указывал на документы (они в деле) и на факты, лица, прикосновенные к делу казней, отвечали: за это у нас не приговаривают к смерти. Тогда за что, за что же?! Молчание. Я прошел тысячи управлений, отделов, застав. Я видел тысячи лиц, я подал сотни заявлений, я не мог задавить слезы — и я не нашел ни отзвука человеческого. Лица, которые могли бы

в полчаса дать точные сведения — отвечали на мои десятые хождения — пока ничего не известно. Скажите день! Место, чтобы я хотя бы мыслью простился с телом сына — ни звука. Молчат. Что это? За что? За что? Больного, ослабленного, безвинного, добровольно явившегося, поверившего власти и оставшегося на родине! Моя душа не может вместить ужас. Алексей Максимович! Это не один случай. Гекатомбы. Мы, писатели, в телеграмме председателя ВЦИК и Луначарского получили покровительство. Только благодаря этому я еще мог входить и просить, биться головой. Впустую. Завтра я возвращаюсь с женой в Алушту, на пустое место, на муку, чтобы найти силы надеяться отыскать какие-нибудь останки. Я не буду иметь могилы сына. Алексей Максимович! Совершилось непоправимое. Помогите мне узнать, за что убили, когда. День, день, число. Где тело? Отдать тело должны мне. Имеют право отец-мать знать день смерти своего ребенка! Доведите до сведения власти о моем желанье, о моих криках, о моем праве, о бесправии. Я мнил Советскую власть — государственной. Она карает, да. Пусть. Но, как всякая государственная власть, она должна карать по силе закона. Здесь, в деле сына, я этого не могу найти. По крайней мере, мне не говорят, за что? Я уже писал Вам о деле. Мой мальчик — не активник. Он был мобилизован, он больше года, больной, жил в Алуште, где его знали все, где ему местная партийная ячейка дала поручительство. И все же его взяли и... кончили. Вы не можете примириться с этим, я знаю. Вы — совесть человеческая. Вы выразитель и народной совести. Ибо Вы — писатель. Вы должны помочь правде. Мне нужно знать, что сына убили бессудно. Пусть мне скажут это. День, день, последний день его жизни! И еще просьба. Мне трудно выехать. Я прошу Вас помочь мне выехать, чтобы меня вызвала Москва, чтобы мне дали возможность беспрепятственно добраться. Мне и жене. Крым мне страшен, татарский Крым. Я болен, я без сил. Я прошу охранной бумаги, чтобы добиваться бумаг на отъезд. И в этом откажут мне? Или мои муки, мое горе, мой ужас не стоят внимания? Я должен быть в Москве, и я верю, что Вы поможете мне в последнем деле жизни. Помогите, Алексей Максимович. Я бессилен. Не получу, погибну.

Ваш Ив. Шмелев.

Исполнения приговора сын мой ждал более месяца!?! Больной!! Расстреляли в Феодосии, в Особом отделе 3 дивизии 4 армии. Приговор был будто бы 29 декабря, расстрел: конец января?!»¹⁵

На письме Шмелева над словами «сына расстреляли» имеется помета красным карандашом рукой Горького: «3 марта». Видимо, наводя справки, он узнал именно эту дату смерти Сергея Шмелева. Известно, что 19 апреля он встречался с Дзержинским и Менжинским, которые могли дать точный ответ Шмелеву. Не приходится сомневаться, что в ОГПУ знали всё о «деле» Сергея. Не этим ли объясняется тот факт, что Дзержинский вскоре признал: крымские чекисты перегнули палку в своем усердии заколотить «наглухо гроб уже издыхающей, корчащейся в судорогах буржуазии» (из воззвания Джанкойской организации РКП(б)). По свидетельству В. Вересаева, в декабре 1922 г. он так ответил на вопрос, почему была устроена бессмысленная кровавая расправа над всеми офицерами, оставшимися в Крыму: «Видите ли, тут была сделана очень крупная ошибка. Крым был основным гнездом белогвардейщины. И чтобы разорить это гнездо, мы послали туда товарищей с совершенно исключительными полномочиями. Но мы никак не могли думать, что они так используют эти полномочия». Я спросил: «Вы имеете в виду Пятакова?» (Всем было известно, что во главе этой расправы стояла так называемая «пятаковская тройка»: Пятаков, Землячка и Бела Кун.) Дзержинский уклончиво ответил: «Нет, не Пятакова». Он не сказал кого, но из неясных его ответов я вывел заключение, что он имел в виду Бела Куна»¹⁶.

Неизвестно, ответил ли Горький на это письмо Шмелева. Ответ вполне мог не дойти до адресата, если в нем сообщались сведения, негодные крымским властям. Во всяком случае, Шмелев так и не узнал даты «3 марта». Днем смерти сына он считал 29 января 1921 г., т.к. именно в этот день ему приснился Сережа, лежащий в чистом белье. Ему в голову не могло прийти, что больного, приговоренного к смерти человека мучили не один месяц, а почти три! Тем не менее Шмелев продолжал добиваться правды. Юрист по образованию, он никак не мог смириться с мыслью о бессудной расправе над невинным человеком. Учитывая, что телеграмма за подписью М. И. Калинина помогла ему хотя бы в хождениях по «управлениям, отделам и заставам», 29 апреля он пишет заявление на имя Председателя Центрального Исполнительного Комитета РСФСР: «К Вам, Председатель ВЦИК, как к высокому представителю Советской власти, исполнителю воли российского пролетариата, обращаюсь я с настоящим заявлением, ибо мне никто, кроме Вас, не может помочь в самом горьком, самом важном и самом страшном деле жизни

моей. Вот уже 5 месяцев я добиваюсь узнать, что постигло моего единственного сына, единственное достояние мое, то, что связывало меня с жизнью и ободряло в работе, и не могу добиться. Дело в следующем. Мой сын, Сергей Иванович Шмелев, 25 л., бывший подпоручик артиллерии, бывший студент, живший в Крыму по болезни, отравленный газами в германскую войну, был мобилизован Крымским правительством в декабре 1918 г. И как больной, и как вовсе не сочувствовавший случайным, нарождавшимся на Руси правительствам, не опиравшимся на волю и желания русского народа, не принимал активного участия в борьбе против Советской власти. Что он был мобилизован, что он большую часть 2-~~x~~ лет службы болел, а последний год полностью жил в Алуште — документальные доказательства этого должны быть в деле сына. Последний год сын, проживая в Алуште, состоял при комендантском управлении как представитель военного ведомства в алуштинском городском квартирном отделе. Отставки, несмотря на тяжелую болезнь, туберкулез обонх легких, ему не давали, обещая со дня на день. За этот год моего сына хорошо узнал весь город, и я уверен, что не нашлось бы ни одного человека — каких бы политических взглядов ни был он, кто мог бы сказать о моем сыне что-либо предсудительное в том или ином смысле. При эвакуации белой армии мой сын остался добровольно, как и я с женой, на родине, решив работать по мере сил для новой жизни в Советской России. Имея полную возможность уехать, мы остались, веря, что нам ничего не угрожает. И мы жестоко ошиблись. Несмотря на поручительство за сына местной коммунистической группы (документ в деле), несмотря на мои мольбы, на мое требование исследовать дело о сыне, больном, ни в чем не повинном, на месте в Алуште, где он жил больше года, несмотря на мои заявления, что я как писатель, давший родине свое лучшее, что имел, весь свой труд, свои книги, — известен центральной власти и буду просить ее покровительства для сына, — пусть повременят, не берут больного, единого, — сына взяли и увезли в Феодосию. Там разберут и отпустят! Меня уверили, что это — “формальность”. Так нужно. Это было 3 декабря. После невероятных усилий я мог узнать лишь что 1) мой сын выслан куда-то в Казанскую губернию в половине февраля, 2) что 29 декабря состоялся приговор смертный, а расстреляли — убили сына гораздо позднее, т.к. он был болен. Что правда — до сих пор не могу узнать. Был ли суд или застеночная расправа? За что убили? Убили безвинного, больно-

го, чистого, за которого знающие его все могли бы поручиться, что никогда не был врагом. О нем знали только хорошее. Узнал еще, что сына томили в подвале, что он был лишен всего-всего, голодал, обовшивел. Я не мог видаться с ним — мне сказали еще в декабре, что увезен в Харьков. Мне мешали добиться правды. Только после Вашей телеграммы о покровительстве писателям, только после запроса из Москвы о деле моего сына, мне туманно сказали, что да, расстреляли. Когда, за что? Не сказали. За что? — спрашиваю я Советскую власть, казнили моего сына! За что томили? За что? Не найду ответа. Вас, т. Председатель, прошу: авторитетным расследованием пролейте свет на это дело. Дело не об одном моем сыне. Таких случаев слишком много... Не буду говорить, почему это важно. Правда нужна всякой власти, тем более власти молодой, новой, власти будущего, мирового. Прикажите, чтобы дело сына получило освещение. Чтобы мне сказали, был ли суд или застенки. Чтобы мне сказали, когда был казнен и за что сын мой, дабы я мог носить в душе память о последнем дне его жизни. Чтобы мне отдали труп сына, куда-то брошенный. Правда, что живет в душе моей, говорит мне: это твое право все знать о твоём сыне. Дело вершилось в Феодосии Особым Отделом 3-й стрелковой дивизии 4 армии. Все начальники особых отделов, с коими приходилось мне говорить, заявляли, ознакомившись с фактами: за это у нас не расстреливают. Где истина и кто виноват? Прошу: прикажите открыть правду. Это Ваше право. Это мое право — отца и матери»¹⁷.

На это обращение Шмелев тоже не получил ответа. Так и не добившись правды, он решил покинуть Россию. Последнее письмо Горькому с просьбой помочь выехать в Москву датировано 14 июня 1921 г. Шмелев пишет из Алушты: «Дорогой Алексей Максимович, прошу Вас, во имя человечности, помогите мне приехать в Москву для устройства своих литературных дел и личных. Крайне необходимо. О сыне я имею самые ужасные вести, но... я все еще на что-то хочу надеяться. Я не могу остаться в неведении. Пропал человек... Ни за что, когда, как? Суд ли то был или бессудье, расправа. Если бы я мог высказать Вам все, все, Вы, Алексей Максимович, поняли бы меня тогда и помогли найти правду. Я в Вас верю. Не хочу обмануться. Мне очень трудно. Горе мое не измеришь. Помогите прибыть в Москву, без задержки. Материальные условия жизни моей и Цепского очень тяжелы. Мы получаем пай: 1 фунт хлеба (чаще 1/2 и 3/4 в день) (последние две недели совсем не получали), 1 ф. соли,

1/2 ф. кофе-суррогата, 4 ф. дробленой пшеницы и 1/2 ф. табаку в месяц. Ни масла, никаких жиров. Мне не на что выменять или купить. Нужда крайняя. Достаточно сказать Вам, что приходится есть виноградный лист вареный... Но не это важно. Для меня важно быть в Москве, говорить с Луначарским, с Вами, с людьми. На окраине мы гибнем и духовно, и телесно. Я уже 5–6 писем послал Вам, — ни одного ответа! Что это? Не получили? Или... Я теряюсь. Мы с Вами не встречались, правда, но это не мешало нам товарищески и любовно относиться друг к другу. По крайней мере, Ваши письма ко мне всегда были проникнуты хорошими чувствами. Недоумевает и Сергеев-Ценский. Он дважды писал Вам. Это письмо — последнее мое обращение к Вам. Отзовитесь. Во имя высокого звания российского писателя, как и я пока еще имею честь быть и считать себя, — отзовитесь! Если бы Вы знали, как мы беспомощны и опустели здесь! Даже всегда крепкий Сергеев-Ценский упал духом и говорит — гибнем. Работать нет возможности. Дайте возможность приехать в Москву. Необходим вызов. Сделайте его. Мне с женой Ольгой, Ценскому. Мы не имеем ни гроша. За книги за эти 3–4 года я ничего не получил. Я не знаю, на что я поеду. Я сниму с себя последнее, что еще можно снять и поеду. Сделайте.

*Ваш Иван Шмелев*¹⁸.

Но Горький уже не мог ничего сделать. В письме к Короленко от 13 июля 1921 г. он посетовал: «...если б Вы знали, сколько таких трагических писем читаю я, сколько я знаю тяжких драм! У Ивана Шмелева расстреляли сына, у Бориса Зайцева — пасынка. К. Тренев живет в судорожном страхе. А. А. Блок, поэт, умирает от цынги, его одолела ипохондрия, опасаются за его рассудок, — а я не могу убедить людей в необходимости для Блока выехать в Финляндию, в одну из санаторий. Не могу перевести из Крыма в Москву Тренева, Шмелева, Сергеева-Ценского, Деренталя — не могу вот уже третий месяц»¹⁹.

Осенью Шмелев вновь обратился во ВЦИК и к Луначарскому, отправив письма с М. В. Фофановой, просил П. Г. Смидовича хлопотать «перед полномочной комиссией». 8 сентября 1921 г. он писал В. В. Вересаеву: «Едете вы в Москву, слышал я: “везут вагон писателей из Коктебеля”. За Вас, как за последнее средство (простите) хватаюсь — помогите. В Москву не еду — не могу ехать, не могу оторваться от той земли, где жил с мальчиком последние дни его жизни<...> Москва для меня — воспоминания

счастья прошлого. Крым — страдание, но это страдание связано с самым дорогим в жизни»²⁰.

Шмелев писал Вересаеву всю осень 1921 г., жаловался на бедственное положение («Последний мой крик — спасите!»), сообщал, что не может писать, хотя творческие планы у него уже возникают, признался, что окончательно решил уехать из России. 13(26) ноября он писал: «Мне всегда были чужды и задания, и „политические грибки“, и анализы, и подходы. Таков характер», а 20 ноября (3 декабря) сообщил: «Мне нужно отойти подальше от России, чтобы увидеть все ее лицо, а не ямины, не оспины, не пятна, не царапины, не гримасы на ее прекрасном лице. Я верю, что лицо ее все же прекрасно. Я должен вспомнить его»²¹.

Вскоре вызов пришел, и Шмелевы уехали в Москву. С Горьким они, по-видимому, уже не встречались, т.к. его самого по настоянию Ленина усердно старались отправить за границу. После смерти Блока и расстрела Гумилева, запрещения руководимого им петроградского отделения Помгола и ареста чуть ли не всех его членов он и сам пришел к выводу, что ничем не может помочь русской интеллигенции. У Горького открылся туберкулезный процесс, началась цинга, и 16 октября 1921 г. он уехал в Германию. Шмелевы прожили в России до 20 ноября 1922 г., когда навсегда покинули родину. Рана, нанесенная им, не заживала никогда. В эпопее «Солнце мертвых», описывая бесчинства красных в годы гражданской войны, Шмелев писал: «Я ничего не могу, а они все могут! Все у меня взять могут, посадить в подвал могут, убить могут! Уже убили!» (I, 476).

Но в глубине души он еще долго верил, что сын может быть жив, и очень тосковал по России. Приехав в Берлин, он написал Е. П. Пешковой 10 декабря 1922 г.: «Многоуважаемая Екатерина Павловна. Прежде всего — привет Вам и низкий поклон. Очень тоскую, и никакая заграница не в силах стереть мою печаль. Все еще живу мыслью, что вернусь в Россию скорее, чем думал, ибо нечего мне здесь делать и, кто знает, увижу мальчика. Не откажите напомнить А. Воронскому о моей просьбе к нему по делу о моем мальчике. Мне обещали навести справки в лагерях. Я — подавал заявление. А тогда бы я всего себя отдал России!

Крепко Ваш И. Шмелев»²².

Обращение к жене Горького понятно. Е. П. Пешкова работала в то время в Политическом Красном Кресте, часто общалась с Дзержинским, спасала от смерти десятки людей, а у Шмелева

еще теплилась надежда, что сын может томиться где-то в лагере.
Но чуда не произошло.

- ¹ Возрождение. 1956. №59, ноябрь. С. 133.
- ² Шмелев И. Родное. С. 132.
- ³ Там же. С. 133–137.
- ⁴ Там же. С. 137–141.
- ⁵ Горький М. Неизвестная переписка. М.: Наследие, 1998. С. 239.
- ⁶ Горький М. Собрание сочинений. Письма. Т. 13. М.: Наука, 2007. С. 163.
- ⁷ Шмелев И. Родное. С. 142.
- ⁸ Ходасевич Вл. Собрание сочинений: В 4 т. Т. 4. М., 1997. С. 353.
- ⁹ Лепта. 1993. № 2. libru/Классика.
- ¹⁰ Там же.
- ¹¹ Там же.
- ¹² Там же.
- ¹³ Волошин Максимилиан. Стихотворения и поэмы. СПб., 1995. С. 275–276.
- ¹⁴ Шмелев И. Родное. С. 144.
- ¹⁵ Там же. С. 144–145.
- ¹⁶ Там же. С. 145–146.
- ¹⁷ Там же. С. 146–148.
- ¹⁸ Там же. С. 148–149.
- ¹⁹ Горький М. Полное собрание сочинений. Письма. Т. 13. С. 206.
- ²⁰ Встречи с прошлым. Вып. 8. М., 1996. С. 177–180.
- ²¹ Там же. С. 186–187.
- ²² Шмелев И. Родное. С. 150.